
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В. ЛАЗУГА

ПОЛЯКИ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ (Между «западным» и «отечественным»)

Поляки, по всей вероятности, принадлежат к тем народам, которые любят смотреться в зеркало. Но на протяжении многих десятилетий, глядя в него, они испытывают чувство неудовлетворенности из-за того, что лишены красоты. Поляки убеждены в том, что история обошлась с ними жестоко, и они никак не могут избавиться от этих навязчивых мыслей. Они проклинают то место на земле, где пришлось им жить, но они не в состоянии отсюда бежать. Они хотят быть европейцами и сильно страдают, если их таковыми не считают. Поляки чрезмерно чувствительны и постоянно, можно сказать, даже маниакально сравнивают себя с другими. Оптимизм у них переключается с пессимизмом, раздражающая других мегаломания – с чувством неуверенности в себе, а это все вместе взятое не способствует положительной самооценке.

Иностранцы не раз удивлялись тому, что мы предпочитаем больше говорить о прошлом, нежели о настоящем или будущем, они объясняли это чрезвычайной любовью поляков к истории. Но при этом они не учитывали, что из прошлого мы могли извлекать то, что нам было по душе, так как на настоящее, а тем более на будущее мы на протяжении многих десятилетий не имели никакого влияния. Когда-то мы были господами и хозяевами своей страны, потом господином и хозяином стал чужой, а будущее вовсе было неизвестно. Это был сильнейший контраст, на фоне которого неоднократно вырастал мизантропический культ родной культуры и традиции. Поскольку даже в самые трудные моменты нашей истории можно бы-

ло уйти в мир, всеми любимый, близкий и хорошо знакомый, – мир былых побед, усатых предков, изображенных на портретах, мир «древних» обычаев, коня и усадьбы на фоне идиллического пейзажа. И такой была Польша – страна, которой не было на карте Европы. Не Восток и не Запад мы видели на этой картине, а квинтэссенцию польского характера с его неповторимыми чертами.

Нельзя сказать, что, погружаясь во все, что олицетворяло этот «польский характер», мы из поля зрения теряли все точки сопоставления. Мучительные вопросы заставляли нас задумываться над тем, почему Польша пала? Почему народ так страдает, что в нас есть такое, что привело к упадку? Чем мы отличаемся от других и в чем мы на них похожи? Чем мы лучше других, а чем хуже, и где, в конце концов, наше место в круговороте исторических событий? Ответы на эти вопросы могли бы образовать огромный каталог, представляющий польскую политическую мысль. В зеркало смотрели бы последующие поколения. Менялся бы угол зрения и цветовая гамма: вчерашние аномалии становились бы законом, вчерашние законы превращались бы в аномалии. Сходство с другими нациями у нас то высоко ценили, то относились к нему с презрением. Принадлежность душой и сердцем Западу могла быть честью, но могла быть также причиной угроз и упадков. Восток мог быть лучше Запада, а по сравнению с Востоком, в свою очередь, лучшим могло быть положение на острове, окруженном океаном.

Кое-что стало проясняться в эпоху Просвещения. Оно по-своему объясняло причины, которые привели к тому, что разошлись дороги Польши и Европы. Люди того времени охотно верили в универсальные образцы и в Европу, основанную на таких образцах. Так как Польша их не приняла, то на пути своего развития она оказалась в своеобразной аномалии, которая, по мнению А. Нарушевича, наступила после того, как в 1370 г. закончилась династия Пястов, а по мнению Г. Коллонтая и С. Сташица – вместе со смертью последнего из Ягеллонов. К счастью, на мировой арене появился Наполеон, и Польша вновь стала жить европейской жизнью. Бонапарт не только выступил против тех, кто разделил Польшу, но и создал новый универсализм, который был так мил полякам того времени. «Единый закон, единое оружие, единый народ братский восстает!» – употребляя эти высокопарные слова, писал Ю. Ли-

пиньски. Под сильным впечатлением Тильзитского мира Гуго Коллонтай вещал, что скоро наступит время, «когда житель любой части земного шара, в какую бы он ни пошел сторону, <...> в каждой стране найдет себе родину, потому что всюду будет одна и та же конституция, тот же самый закон, те же единицы измерения и те же деньги; никакие обычаи другой страны не будут чужды: только климат и речь будет другой».

Коллонтай и Липиньского такие перспективы захватывали. По их мнению, Польша, адаптировав чужие универсальные образцы, превратится в страну прогрессивную, развивающуюся согласно европейским тенденциям. В эпоху Просвещения, писал Я. Тазбир, у нас «сильно проявился комплекс на пункте Европы». В этот период восхищаться родным сарматизмом и подчеркивать свое отличие не считалось добродетелью. Сарматизм был культурой сугубо национальной и одновременно антиуниверсальной. С точки зрения господствовавшей тогда манеры он был культурой периферийной и одновременно антиевропейской. С другой стороны, это была культура, с которой народ полностью идентифицировался. Эта экзотическая и эксклюзивная культура питалась столь редким среди нас убеждением, что судьба поляка лучше судьбы любого француза или немца. Побороть сарматизм было нелегко, потому что столь восхваляемый универсализм эпохи Просвещения легко можно было обвинить в пропаганде не совсем патриотических (или вовсе непатриотических) позиций. Все, что было дозволено просвещенным французам в период космополитизма с французской окраской (при Людовиках либо Наполеоне), не всегда было дозволено просвещенным полякам, особенно тогда, когда родина оказалась в тяжелом положении, и пора было кончать всякие теоретические рассуждения.

В эпоху романтизма ситуация изменилась коренным образом, и мы попали из крайности в крайность. Это не Польша, говорили тогда, а Европа пошла в неверном направлении. Заблудились не мы, а они. Вавжинец Суroveцки – певец неосарматизма – в этом плане не имел никаких сомнений. Поскольку аномалии появились у нас тогда, когда мы начали перенимать чужие образцы, отбросив свои отечественные, то именно это восхищение всем иностранным привело страну к упадку.

Генрих Жевуски в своих письмах доказывал, что Запад обречен на гибель, и спасти его может только «отцовский деспотизм Романовых».

Однако следует заметить, что даже в самые трудные моменты, у нас редко искали «пример» на Востоке. Если и критиковали у нас Запад, то противопоставляли ему не восточные русские, а наши польские черты.

Хорошим примером могут быть идеи, провозглашаемые Иоахимом Лелевелем, и его «гминовладельческая» теория. В сокращении она представляется следующим образом: Польша своим «свободолюбивым» строем опередила Европу, свобода и независимость защитили поляков от капризов деспотизма. Король у нас, по сути дела, был не королем, а республиканским чиновником. Полякам уже в XVI веке гарантировались свободы, которых Запад добился только три века спустя, окупив их революциями. А все это произошло, подчеркивал И. Лелевель, не под чужим вдохновением, а, наоборот, благодаря конкретизации польского духа, основными чертами которого являются свобода и равенство.

Ничего удивительного, что при таком истолковании отечественной истории (в период отсутствия независимости) могли появляться разные неточные интерпретации. Даже такой трезвомыслящий человек, как М. Мохнацки – самая незаурядная личность своего времени, – в лице Коперника, на памятнике работы Б. Торвальдсена, увидел «сармацкие черты у польского астронома». Упомянутый уже нами Суroveцки писал, что в допясковское время народ наш «любовался музыкой, скульптурой и живописью». Когда вспыхнуло ноябрьское восстание, эта замечательная Польша стала не пригородом Парижа, а его цитаделью. Она была для Европы не только ее совестью, но и щитом, как в те далекие времена, когда Европа, будучи в безопасности за ее спиной, совершенствовалась и росла. Чужие образцы жизни уже не манили. Чужие обычаи вызывали отвращение. Было бы очень хорошо, если бы нам удалось «прочь изгнать все чужеземное из голов и сердец поляков». «Не все вы одинаково хорошие, – говорил Мицкевич полякам, – но самый худший из вас лучше любого хорошего иностранца». Лучший – то есть наделенный христианскими добродетелями и от других народов отличающийся свободолюбием. Перед поляками вновь поставлены были высокие цели. «В романтическом костеле, – писал

Е. Едлицки, – смрад нищеты и лазаретов ничего не значил». Призванием, достойным поляка, была конспирация и поэзия. Писали, ограничиваясь тесным кругом своих проблем, но в это время поэзия достигла самого высокого европейского уровня, которого ей не удавалось достичь ни в минувшие, ни в последующие годы.

Январское восстание было важнейшим переломным моментом в нашей истории. Поражение очередного восстания укрепило ряды ориентированных на западную культуру и ослабило приверженцев романтического образа поляка. Сначала Ю. Шуйски, а вслед за ним М. Бобжиньски разделяются с догмой о своеобразном польском пути развития, они решительно порывают с Лелевелем и его эпигонами. Шуйски создает теорию о нашем «цивилизаторском юношестве», Бобжиньски, в свою очередь, увидит начало всего зла и аномалий не в стремлении к западной культуре, а в разрыве с ней. Он взволнованно напишет: «Польский народ и его прошлое вычеркнули со страниц истории, отодвинули его от тех проблем, с которыми сталкиваются другие народы на пути своего развития, за ним признали исключительную роль, миссию действовать на благо человечества, и ради этой миссии ему предоставили возможность существовать без соблюдения законов и без правительства, без армии и без налогов».

Бобжиньски полностью отступит от учения Лелевеля. Он поставит государство впереди народа и докажет, что «гминовладельчество» не только своекорыстно, но и виновно в обездоленности низших слоев общества. При этом он не пощадит ни политических свобод, ни религиозной толерантности. В этих проявлениях общественной жизни он не заметит никаких добродетелей, наоборот, он в этом увидит низкую температуру, в какой протекала у нас политическая жизнь, и объяснит это «отсутствием опасных покушений и внутренней борьбы в нашей истории». О Сигизмунде II Августе он напишет: «Настоящий Гамлет нашей истории, который, будучи католическим монархом, не осмелился явно выступить против реформации, но и не отважился порвать с Римом и встать на ее сторону. Эта нерешительность ослабила королевскую власть и укрепила анархистские элементы...»

Образ поляка, представляемый краковской исторической школой, не был столь положительным, как в романтическом изображе-

нии: мы не располагаем ни какими-либо врожденными добродетелями, ни преимуществами над другими народами, мы слабохарактерны и вялы, невезение и монотонный труд отбивают у нас всякое желание что-нибудь делать. Эту правду, хотя и горькую, узнать народу было необходимо, если он хотел иметь такие же права, какие имели другие народы. Пора кончать с ложной историей, ведущей к фальшивой политике, пора кончать с «*liberum conspiro*», этим злым духом, который «*liberum veto*» – старого грешника – испустил кровью и слезами миллионов людей.

Можно сказать без всякого сомнения, что в категориях западного мышления о нас самих краковская школа одержала победу. Следует также подчеркнуть, что в начале XX столетия многое изменилось. Менее безвольными, нежели это было раньше, стали представители крестьянского движения, более решительно на политическую арену вышли «всехполяки», освободительную борьбу усилили также объединенные вокруг Ю. Пилсудского социалисты. На злободневные темы стала откликаться наша литература: через три года после появления «Свадьбы» С. Выспяньского вышла важная историческая книга С. Жеромского, а через год в этом русле оказался «Князь» Ю. Аскеназы, как писал М. Кукель, «защищая идею вооруженного выступления, возвращающего нам наше доброе имя и воскрешающего государство». В итоге литература опять крепила сердца и подсказывала, как жить под чужим господством, на картинах изображались наши великие победы, а патриотическое воспитание детей считалось обязанностью. «Уланский кивер на голове мальчика – это не игрушка, – вспоминал Я. Паевски, – это не то же самое, что индейский головной убор из перьев».

Романтический образ поляка вновь обретал силу. Хорошим было все то, что свое, отечественное, пусть бедное, простое и дешевое. Поляк не только не уступал другим, но и обладал по отношению к ним некоторым преимуществом:

«*Król pruski jod kluski, austriacki kasze.*

Król polski im napluł, mieli okrasę».

(Прусский король ел клецки, австрийский – кашу.

Польский король, наплевав в тарелку, приправил еду.)

Л. Рудницки писал, что эту песню в тюрьме пел рабочий, уверенный в том, что песня социалистическая.

В 1918 г. Польша обрела независимость. Вернувшись на карту Европы, она не без трудностей и проблем пыталась найти себе свое место. Запад был естественным ориентиром для тех, кто именно с ним связывал будущее страны. Теперь самым важным местом был Париж, французское оборудование, французский стиль и тон. Если и были раньше причины, чтобы иногда посматривать на Восток, то теперь об этом не могло быть и речи. С одной стороны была Франция, являющаяся квинтэссенцией всего европейского, а с другой – антиевропейская большевистская Россия. Первая могла быть надежным союзником, вторая – опасным врагом. К прежним прибавились новые опасения. Россия в восприятии поляков была чужой, «азиатской», а теперь ко всему этому появилась еще угроза со стороны тоталитарной системы. Итак, Польша, повернувшись спиной к Востоку, стала провозглашать, что она является рубежом Западной Европы. Польская дипломатия под руководством будущего президента Г. Нарutowича в своей политике по отношению к прибалтийским государствам пользовалась идеей моста между Востоком и Западом. Так думали и многие другие поляки. По крайней мере, если поверить герою известной книги И. Эренбурга Лазуку Ройтшванцу, который, оказавшись перед польским ротмистром, услышал: «Скотина! Как ты обращаешься к польскому офицеру? Это тебе не Азия. Здесь Париж. У нас есть Лига Наций. У нас в Вильно есть замечательный университет. Мы дали миру Коперника. У нас в кафе сидят элегантные кокетки!»

Этот ротмистр – конечно, олицетворение польского комплекса, нашей тоски по западному миру, это наши сны о Европе. Т. Лепковски писал: «Не говоря об этом громко, мы все-таки чувствовали, что мы не стопроцентные представители Запада». Причем многие из нас говорили, что лучше вообще отбросить всю эту «западность». Возрожденная после войны Польша не должна уже ни на кого оглядываться. Скорее, все другие должны смотреть на нее, как на «преемницу мессианского завещания», которая, совершив «христианский поступок», приведет к «гармонии и единству» сферу Закона Божьего и законодательства человеческого. Вацлав Милевски, автор «Польской национальной философии» (изданной в Варшаве в 1927 г.), не сомневался в том, что сегодня фронт проходит не между общественными классами или слоями, а «между добром и

злом, ...между правдой и ложью». Другой представитель мессианского направления межвоенного периода, Винценты Лютославски, разделял эту точку зрения, а историческую диалектику видел в «борьбе бранных (преходящих) с небожителями, в которой победа, обещанная самим Христом, будет на стороне небожителей». Местом обитания бранных был материалистический Запад, а отчизной небожителей – Польша, привязанная к высшим идеалам и ценностям. Бранные, концентрируясь на радостях мира сего, вели пустую жизнь, небожители же стремились к высшим целям и молились о спасении.

Как у Милевского, так и у Лютославского политика в высшей степени подвергалась сакрализации, и практически не было границ между общественным и религиозным.

В 1939 г. на Польшу опять обрушилось несчастье. А в 1945 г. в результате войны изменились не только ее государственные границы, но и ее место в Европе. Польша была вовлечена в идеологическую конфронтацию, разделившую мир на два лагеря, она стала членом Варшавского договора, отделившего ее от мира железным занавесом. В пропаганде «реального социализма» слово «Запад» быстро приобрело уничижительный, вызывающий подозрение оттенок. Были поставлены новые указатели и намечены новые пути, направленные на Восток. Такое понятие, как Центр Европы, отсутствовало. Запад был капиталистическим, а Восток – социалистическим. Польша с другими государствами советского блока оказалась теперь на Востоке со всеми последствиями, вытекающими из этого факта. Перед Востоком было будущее. Кто не разделял эту точку зрения, тому в условиях социалистического строя тяжело было жить, такого человека обвиняли в отсталости взглядов и непонимании исторической диалектики.

Но история, как известно, любит парадоксы. Заклинания о превосходстве советской модели над всеми другими привели к тому, что Запад окончательно превратился в миф, а в сознании поляков стал чем-то очень близким, почти родным. И уже все: и западное, и польское – не являлось антиномией, а вместе взятое давало силу тем, кто не подвергался официальной пропаганде и уходил от нее в свое близкое, родное или западное: в каждое из них по отдельности, попеременно либо одновременно.

Надо сказать, что Запад в это время не столько ассоциировался у нас с обилием товаров и шикарными магазинами, сколько с Сартром, Лувром и Ив Монтаном, со свободой, то есть со всем тем, с чем связано было наше историческое прошлое в его «запрещенном» инсurreкционно-освободительном виде. И результаты оказались знаменательными – в пантеоне мыслящих поляков Ю. Пилсудски соседствовал с Р. Ароном, Ю. Хелмоньски с С. Дали, а Ю. Словацки с С. Кьеркегором. У нас слушали джаз и пели «Первую бригаду» (песня Легионов Пилсудского). Лелеяли отечественную культуру и одновременно открывались для западных контр- или субкультур.

Новое (старое?) расхождение между тем, что олицетворяло польское, а что западное, наступило под конец эпохи Э. Герека, когда поляки все чаще стали ездить на Запад. Классическую форму антиномии это расхождение приобрело после 1989 г. уже в независимой Польше. Колесо истории круто повернулось. У нас опять появились «небожители» и «бранные», появились разочарованные Западом и разочарованные независимостью (потому что не так они себе ее представляли). Есть и «западники», и националисты, хорошие и плохие поляки, настоящие и фальшивые патриоты.

Аукцион продолжается, и конца ему не видно.